

народов, ставшее реальностью в 30-е годы, у Платонова воплотилось в поисках счастья неким народом «джан», поскольку именно этот народ «изо всех народов Советского Союза наиболее нуждающийся в жизни и в счастье». Уже этим выбором содержанию повести были приданы приметы «экспериментальности»: испытание идеи в специально выбранных «крайних» условиях. Эти «крайние» условия во многом определили и главную формальную особенность «Джан» — ее двужанровую природу.

Начало «Джан» (московские сцены) — психологическая повесть, источник динамики которой во влечении — отталкивании Назара Чагатаева и Веры. Хотя их влечение друг к другу велико, Вера, которая старше Назара и опытнее его, недаром не верит в прочность их союза. Героев разделяет нечто очень серьезное, заключенное в особенностях мировосприятия каждого. Вере ее несчастья кажутся закономерными и недолимыми: «Она верила в свое обреченное одиночество, хотя Назар женился на ней и разделил ее участь». Чагатаев же недоумевает, «почему счастье кажется всем невероятным и люди стремятся прельщать друг друга лишь грустью». Расхождение в мироощущении Веры и Назара особо четко проявилось при обсуждении судьбы будущего ребенка Веры. Назар: «Он будет рад» (своему рождению). Вера: «Он будет вечный страдалец». Встреча с Верой только укрепила убеждение Назара в своем особом предназначении: «...горе представлялось ему пошlostью, и он решил устроить на родине счастливый мир, а иначе непонятно, что делать в жизни и зачем».

Московские сцены — своего рода «реалистический пролог» к легенде, в жанре которой даны эпизоды страданий и спасения народа джан. Симптомы нарастающей легендарности заявляют о себе еще раньше, когда Чагатаев по пути на родину неожиданно сходит с поезда и 7 дней (цифра, популярная в народных легендах-сказках) идет пешком до Ташкента. Но для этого поступка есть и убедительная реальная мотивировка: Чагатаев хотел сердцем почувствовать свою землю, забытую в столице. Разговор Чагатаева с секретарем, отправляющим его на поиски джан, — опять «правдоподобное» повествование. Положение, в котором находится народ, характеризуется в этом разговоре как ситуация «у последней черты», когда новое (еще одно) несчастье в чреде бедствий уже неминуемо несет смерть.

«Одно» («одна») и «ничего» — эти слова господствуют в характеристике народа джан. Объясняя секретарю смысл названия «джан» («означает душу или милую жизнь»), Чагатаев говорит: «У народа *ничего не было, кроме души и малой жизни*, которую ему дали женщины — матери, потому что они его родили». Секретарь: «Значит, *все его имущество — одно сердце в груди*, и то, когда оно бьется...» «*Одно сердце*, — согласился Чагатаев, — *одна только жизнь, за краем тела ничего ему не принадлежит*. Но и жизнь была не его, ему она только казалась».

В этой ситуации с ее амплитудой колебаний от «одно» к «ничего» обычные психологические стереотипы, естественно, нарушаются. И обыкновенный мир приобретает отчетливые приметы странности. Сочетанием «странный и обыкновенный», как справедливо отмечалось в одной из первых рецензий на публикацию «Джан», высказано существо поэтического мира повести⁵.

Собственно легенду открывает встреча Чагатаева с верблюдом (эмблемой пустыни). Встреча эта символична: с нее начинается цепь спасения героем существ несчастных, обреченных на гибель. Недаром верблюд предельно очеловечен, он смотрит на Назара «напряженно и внимательно, готовый заплакать или улыбнуться, мучающийся от неумения сделать и то и другое».

⁵ Ландау Е. Странный и обыкновенный человеческий взгляд. — «Новый мир», 1965, № 6.